

# Проблемы языка в книге М. М. Бахтина о Ф. Рабле

В. М. АЛПАТОВ

Если смотреть на труды М. М. Бахтина с точки зрения лингвиста, то в них четко выделяются два периода. В работах 20-х гг. проблемы языка почти не затрагиваются. Конечно, из «круга Бахтина» вышла книга В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка», в которой, весьма вероятно, присутствуют идеи М. М. Бахтина, однако всё же нет оснований целиком приписывать Бахтину ее авторство. Однако, начиная с 30-х гг., от «Слова в романе», языковая проблематика присутствует у него постоянно, а некоторые его работы 40—50-х гг. («Вопросы стилистики на уроках русского языка в школе», «Проблема речевых жанров», фрагмент «Язык и речь») по тематике являются преимущественно лингвистическими. Показательно, что вся лингвистическая проблематика в книге о Ф. М. Достоевском (фрагмент о металингвистике) появилась лишь во втором ее варианте.

По сравнению с другими работами второго периода книга о Ф. Рабле не столь лингвистична. Лишь в самом ее конце имеется сравнительно короткий раздел об «особом отношении эпохи Рабле к языку и языковому мировоззрению» (497)<sup>1</sup> (этот раздел (497—506), если не считать нескольких завершающих книгу абзацев, является в ней последним), есть и отдельные замечания в других местах. Тем не менее, и здесь мы находим существенные идеи. Эпоха Ф. Рабле, как показано в книге, была переломной для французской культуры, и этот перелом происходил, в том числе, и в сфере языка, что требовало анализа. И, как всегда у М. М. Бахтина, этот анализ выходит за рамки французской конкретики, ученый ставит важные проблемы, актуальные для разных стран и эпох. Среди них можно выделить, по крайней мере, две: проблему двуязычия и многоязычия и проблему так называемой нецензурной (или, как теперь стало принято писать, обценной) лексики. Обе эти проблемы выходят за пределы «чистой» лингвистики и имеют социальное и культурное значение.

Проблема многоязычия затрагивается и в других работах М. М. Бахтина, особенно в «Слове в романе», однако применительно к эпохе Ф. Рабле (первая половина XVI в.) во Франции она имела особую значимость. В книге фиксируется, по крайней мере, пять языковых образований (как иногда говорят в лингвистике, идиомов), первое из которых существовало во множестве разновидностей. Это французские диалекты, складывающийся французский литературный (стандартный) язык, средневековая латынь, возрождаемая книжниками классическая латынь и имевший престиж итальянский

---

<sup>1</sup> Все цитаты из книги М. М. Бахтина даются по последнему ее изданию в собрании сочинений *Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // Бахтин М. М. Собрание сочинений*, т. 4 (2), М., 2010 с указанием лишь номера страницы.

язык<sup>2</sup>. Они не просто сосуществовали, но сложным образом взаимодействовали и боролись друг с другом.

В течение всех Средних веков в Западной Европе господствовало явление, именуемое в современной лингвистике диглоссией: в быту говорили на различных диалектах, а общим языком культуры была латынь, две системы не смешивались между собой (см. об этом в иных терминах в «Слове в романе»<sup>3</sup>). Латынь тогда еще не была мертвым языком, как ее стали именовать впоследствии: на ней не только писали, но и говорили, она была единственным способом общения между образованными людьми разных стран и народов. Поскольку данный язык оставался языком общения, он не мог не меняться, а материнские языки его носителей не могли не оказывать на него влияния, особенно сильного, если эти языки развивались в одном направлении. Это, по-видимому, произошло с базовым (преобладающим в нейтральных контекстах) порядком слов. Древние индоевропейские языки имели порядок, при котором главное сказуемое завершало предложение, а зависимые члены предложения стояли перед главными. Так было и в классической латыни Рима последних веков до новой эры (в особых контекстах, например, при подчеркивании какого-то слова, порядок мог меняться, но обычный порядок слов был именно таким). Такой порядок (именуемый в лингвистике SOV: субъект — объект — глагол) свойствен многим языкам мира (тюркским, монгольским, японскому, кавказским и др. ), но среди индоевропейских языков его сохранили лишь индоиранские. А во всех индоевропейских языках Европы еще в Средние века базовым стал иной порядок слов — SVO: субъект — глагол — объект, который в некоторых из них (французский, английский) теперь очень строг. И имеются данные о том, что и в поздней разговорной латыни стали (конечно, бессознательно) соблюдать «европейский» порядок. И, разумеется, не могла не меняться лексика, появилось много слов, которых не было в Древнем Риме.

Эпоха Возрождения выдвинула лозунг: «восстановить латинский язык в его античной классической чистоте» (498). Разговорная латынь стала именоваться «кухонной» (499), образцом стали считаться тексты «золотого века» — для прозы Цицерон, для поэзии Вергилий и Гораций. «Цицероновская латынь осветила действительный характер средневековой латыни, ее подлинное лицо», «уродливое и ограниченное» (499). Но М. М. Бахтин отмечает оборотную сторону этого стремления: оно «неизбежно превращало латинский язык в мертвый язык. Выдерживать эту античную классическую чистоту и в то же время пользоваться им в жизненном обиходе и в предметном мире XVI века, выражать на нем все понятия и вещи живой современности не представлялось возможным. Восстановление классической чистоты языка неизбежно ограничивало его применение, ограничивало, в сущности, одной сферой стилизации.... Другая сторона возрождения оказывается смертью» (498—499).

Этот процесс в XVI в. происходил не только во Франции, но по всей За-

<sup>2</sup> Реально таких образований было еще больше: бретонские и баскские диалекты, с лингвистической точки зрения, имели особый статус. Однако функционально они были сходны с французскими диалектами, и М. М. Бахтин их специально не рассматривает.

<sup>3</sup> Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975.

падной Европе, где раньше, где позже. Но типологически сходные явления происходили и в других культурных ареалах, разумеется, с иными языками и в иное время. Например, в Японии XVII-XIX вв. ученые школы *кокугаку* (что значит «национальная наука») восстанавливали «классическую чистоту» старописьменного языка (бунго), изучая орфографию и грамматику наиболее авторитетных древних памятников<sup>4</sup>. Эта школа создала национальную лингвистическую традицию, но всё равно со второй половины XIX в. бунго стал вытесняться новым литературным языком на разговорной основе. И процесс замены прежних языков культуры, обычно охватывавших целые культурные ареалы (латынь, церковнославянский, санскрит, классический арабский, вэньянь в Китае, бунго в Японии), новыми национальными литературными языками — общемировое явление, хотя соотношение внутренних и внешних факторов могло быть различным. В Европе главными были внутренние факторы: изменения «в жизненном обиходе и в предметном мире», хотя в ряде стран могли играть роль и внешние факторы: для Франции культурное влияние Италии.

«Кухонная латынь» и «мертвая латынь» некоторое время боролись друг с другом, но в итоге в равной степени оказались устаревшими. «Новый мир и новые общественные силы, его представлявшие, адекватнее всего выражали себя на народных национальных языках» (500). Борьба этих языков с двумя вариантами латыни, принимавшая нередко вид «площадной перебранки», отраженной, в частности, у Рабле, внесла, как указывает М. М. Бахтин, в языковое сознание «ощущение времени» (500). «В пределах все нивелирующей системы средневековой латыни *следы времени* почти совершенно стираются, сознание жило здесь как бы в вечном и неизменяющемся мире. В этой системе особенно трудно было оглядываться по сторонам во времени» (500)<sup>5</sup>. Но с появлением национальных языков «сознание... смогло ощутить *свое сегодня*, его непохожесть на *вчера*, его границы и его перспективы... Современность осознала себя, увидела свое лицо» (500). Случайно ли, что именно в Новое время европейская наука о языке выработала идею историзма, впервые осознала, что языки могут со временем не только портиться, но и развиваться?

И дело не только в этом: М. М. Бахтин повторяет мысль, уже высказывавшуюся им в «Слове в романе»: «два языка — два мировоззрения» (498). Проведенное по всей книге о Ф. Рабле противопоставление двух культур средневековья он переносит и на язык: «Народный язык... был языком жизни, материального труда и быта, языком «низких» — в большинстве своем смеховых жанров... Между тем латинский язык был языком официального средневековья. Народная культура отражалась в нем слабо и несколько искаженно» (498). Можно видеть, что и здесь проявляется общая оценочность книги, в которой отстаивается превосходство народной культуры Западной Европы над официальной вместе со всеми атрибутами последней, включая христианство (по крайней мере, католичество) и латынь. В то же время те-

<sup>4</sup> Алпатов В. М., Басс И. И., Фомин А. И. Японское языкознание VIII-XIX вв // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.

<sup>5</sup> Это не противоречит отмеченной выше изменчивости средневековой латыни: изменения в лексике или порядке слов происходили бессознательно и не замечались.

зис о жесткой связи различных языков и мировоззрений здесь формулируется на бесспорном материале диглоссии, тогда как в «Слове в романе» параллелизм между языком и идеологией проводится слишком жестко и любое идеологическое различие проецируется на язык, что не всегда оказывается убедительным.

Однако если в течение нескольких столетий диглоссия сохранялась, то во время, когда жил Ф. Рабле, «народный язык, захватывая все сферы идеологии и вытесняя оттуда язык латинский, нес с собою новые точки зрения, новые формы мышления..., новые оценки» (498). Прежняя диглоссия «латынь — диалекты» разрушалась. Но диалекты (даже если на них иногда была некоторая письменная традиция) не могли занять место латыни, нужен был «единый национальный язык», которого «еще не было. Он лишь медленно создавался» (500). Поскольку роль разных диалектов в формировании этого языка не могла быть одинаковой, «наивное и мирное сосуществование этих диалектов окончилось. Они стали взаимоосвещаться, своеобразие их лиц стало раскрываться. Появляется и научный интерес к диалектам и их изучению, появляется и художественный интерес к использованию диалектизмов (их роль в романе Рабле громадна)» (501). «Взаимоосвещение диалектов в пределах национального языка обостряло и конкретизировало ощущение исторического пространства своей страны и всего мира, которое характерно для эпохи и которое нашло очень сильное и яркое выражение и в романе Рабле» (502).

Но становление новых литературных языков шло не только во Франции, и, помимо внутренних причин этого процесса, появлялись и внешние. «Национальный язык, становясь языком идеологии и литературы, неизбежно должен был прийти в существование соприкосновение с другими национальными языками, которые совершили этот процесс раньше и раньше овладели миром новых вещей и понятий. В отношении французского таким языком был итальянский» (502). Начинается «итальянизация французского языка» и одновременно пуристическая «борьба с нею» (503). Этот фактор еще более усложнял языковую ситуацию во Франции XVI в.

В процессе формирования нового французского языка большую роль (что было характерно и для многих других литературных языков) играли, как отмечает М. М. Бахтин, переводы с языков, имевших развитую литературную традицию, особенно с древнегреческого и итальянского. «В процессе переводов язык сам слагался и овладевал еще новым для него миром высокой идеологии и новых вещей и понятий, раскрывающихся первоначально в формах чужого языка» (503). И, безусловно, новый французский язык складывался под влиянием образцов написанной на нем литературы, в том числе и грандиозного романа Ф. Рабле, пусть он очень часто выходил за рамки того, что позже закрепилось в языковом стандарте.

Развитие этого языка (как раз при жизни Ф. Рабле в 1539 г. окончательно ставшего официальным языком) у М. М. Бахтина трактуется как чисто стихийный процесс, в книге ничего не говорится о сознательных мерах по его нормализации. Правда, основная нормализаторская деятельность во Франции развернулась уже после смерти Ф. Рабле, более всего в первой половине XVII в. (ко времени появления в 1660 г. грамматики Пор-Рояля она уже

была близка к завершению). Но все-таки еще при нем вышла грамматика Ж. Дюбуа, не упомянутая у М. М. Бахтина.

Но, разумеется, для ученого не это было главным. М. М. Бахтин, прежде всего, отмечает процесс столкновения, взаимодействия языков, «их напряженной взаимоориентации и борьбы» (503). Отсюда им выводилась в полной мере присущая Ф. Рабле «исключительная свобода образов и их сочетаний, свобода от всех речевых норм, от всей установленной языковой иерархии» (504). По мнению М. М. Бахтина, такая свобода могла возникнуть лишь в условиях многоязычия: «Где творящее сознание живет в одном и единственном языке или где языки, если оно — это сознание — причастно много разграничены и не борются в нем между собою за господство [ситуация диглоссии — В. А.], там невозможно преодоление этого глубинного, самом языковом мышлении заложенного догматизма [влияния языка на человеческую мысль — В. А.]» (504). И далее: «Преодоление самого упорного и скрытого [языкового] догматизма возможно было только в условиях тех острых процессов взаимоориентации и взаимоосвещения языков, которые совершались в эпоху Рабле» (506).

Безусловно, вопрос об одноязычии и многоязычии рассмотрен в более широком плане, чем просто констатация благотворного влияния многоязычия на художественный мир Ф. Рабле. Одноязычие связывается с «глубинным догматизмом», а многоязычие с его преодолением. Такой подход можно сопоставить с известным высказыванием В. фон Гумбольдта: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка»<sup>6,7</sup>.

В наши дни проблема одноязычия и многоязычия (то и другое в мире широко распространено) активно обсуждается, хотя часто ее решение обусловлено вненаучными соображениями. Многие исследователи отмечают распространение в общественном мнении развитых стран представления об одноязычии как свойстве культурных и зажиточных людей и связи двуязычия с бедностью и отсталостью<sup>8</sup>. Речь, разумеется, идет не о знании иностранных языков (обычно добровольном), а о вынужденном двуязычии, когда, например, иммигранту в США приходится осваивать английский язык, а представителю российских национальных меньшинств — русский. И не удивительно, что представления об одноязычии (прежде всего, на английском языке) как об идеале свойственны более всего США. А в СССР в 1988—1989 гг., когда начали разворачиваться национальные движения (на ранних этапах еще не поднимавшие вопрос о независимости), в журнале «Дружба народов» развернулась любопытная дискуссия о пользе или вреде двуязычия. И оказалось, что общее для представителей этих движе-

---

<sup>4</sup> Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.

<sup>7</sup> Возможность прямого влияния В. фон Гумбольдта на М. М. Бахтина и авторов его круга неясна, но между ними было связующее звено — школа К. Фосслера, хорошо им известная, а идеи ее представителей, особенно Л. Шпитцера, повлияли не только на В. Н. Володинова, но, по-видимому, и на книгу о Ф. Рабле, см. Попова И. Л. Книга М. М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М., 2009.

<sup>8</sup> Skutnabb-Kangas T. Bilingualism or Not. The Education of Minorities. Clevedon, 1983.

ний желание расширить функции своего языка за счёт русского приводило в зависимости от конкретной ситуации к противоположным выводам. Если язык меньшинства был достаточно стабилен (Эстония), то со ссылкой на научные данные доказывалась вредность двуязычия, особенно развитого с детства: ставилась задача заменить эстонско-русское двуязычие эстонским одноязычием. Если же городское население нередко забывало свой язык и переходило на русский (Башкирия, Чувашия), то уже доказывалась польза двуязычия, обогащающего культуру: стремились перейти с русского одноязычия на чувашско-русское или башкирско-русское двуязычие (лозунг одноязычия на своем языке был слишком явно нереален).

Современная наука не может доказать преимущества одноязычия над многоязычием (как и обратного), но хорошо известно, что мировые высоты и в науке, и в литературе достигались и при одноязычии, и при диглоссии, и при многоязычии разных типов. Но идеи М. М. Бахтина актуальны и сейчас, когда именно в ряде культурных (в широком смысле) сфер от рок-музыки до ряда областей науки всё более стремятся использовать только английский язык. И не просто перекодировать на этот язык мысли, сформулированные на материнском языке, но руководствоваться англоязычным «языковым мышлением». Михаил Михайлович думал здесь иначе, и его точку зрения стоит иметь в виду.

Другая проблема, связанная с языком, — проблема «площадного слова» и отражения в языке столь детально изучаемого в книге «телесного низа». В отличие от проблемы многоязычия, она не вынесена в отдельный раздел, а время от времени затрагивается в разных местах книги.

Как известно, роман Ф. Рабле в XVII–XX вв. обладал славой произведения, хотя и талантливого, но слишком «грубого» и во многих местах «непристойного», в том числе и по языку; она сохранялась и во время работы М. М. Бахтина над разными вариантами своей книги. При окончательном формировании норм французского литературного языка в XVII в. очень большой процент употребленных в «Гаргантюа и Пантагрюэле» слов был отвергнут по разным причинам (как диалектизмы, окказионализмы, устаревшие речения), в том числе из-за их «непристойности», иногда заменяясь эвфемизмами (подобная очистка нормы производилась, вероятно, во всех новых литературных языках на ранних их этапах).

Однако М. М. Бахтин подчеркивал необходимость исторического подхода к такого рода тематике и к отображающей ее лексике. Он указывал: «Очень многие непристойности и кощунственные выражения, которые уже в XVII веке приобрели такую силу преобразовать контекст, в эпоху Рабле вовсе не воспринимались как такие и не переходили граници принятого в официальной речи... Каждая эпоха имеет свои нормы речевой официальности, приличия, корректности» (204), что не всегда учитывалось последующими поколениями. Но важно не только это: «Во всякую эпоху есть свои слова и выражения, употребление которых воспринимается как известный сигнал говорить вольно, называть вещи своими именами, говорить без умолчаний и эвфемизмов. Употребление таких слов и выражений создавало атмосферу площадной откровенности, настраивало и на определенную тематику, и на неофициальность самой точки зрения на мир» (204). Опять-таки противопо-

ставление народной и официальной культур. Еще четче они разделяются в разделе о смене «телесного канона», уже начавшейся в эпоху Ф. Рабле и завершившейся в следующем веке. М. М. Бахтин пишет: «Речевые нормы официальной и литературной речи, определяемые этим канонам, налагают запрет на все связанное с оплодотворением, беременностью, родами и т. п., то есть именно на все то, что связано с неготовностью и незавершенностью тела и с его чисто внутрителесной жизнью. Между фамильярной и официальной, «пристойной» речью в этом отношении проводится чрезвычайно резкая граница» (344). Вместо «незавершенности тела», его связи с другими телами, по мнению М. М. Бахтина, господствует «*индивидуальная и строго отграниченная масса тела*», «граница замкнутой и несливающейся с другими телами и с миром индивидуальности» (344). То есть введение «канона речевой пристойности» связывается с ростом индивидуализма в Европе Нового времени.

Однако «запретная» лексика, как и неофициальная лексика в целом, не исчезла даже в «фамильярной речи культурных людей нового времени»: «В интимной переписке порой сталкиваешься с грубыми и бранными словами, употребленными в ласковом смысле. Когда в отношениях между людьми перейдена определенная грань и эти отношения становятся вполне интимными и откровенными, иной раз начинается ломка обычного словоупотребления, разрушение речевой иерархии, речь перестраивается на новый откровенно фамильярный лад; обычные ласковые слова кажутся условными и фальшивыми, истертыми, односторонними и, главное, неполными; они иерархически окрашены и неадекватны установившейся вольной фамильярности; поэтому все эти обычные слова отбрасываются и заменяются либо бранными словами, либо словами, созданными по их типу и образцу. Такие слова воспринимаются как реально-полные и более живые... . Словно древняя площадь оживает в условиях комнатного общения, интимность начинает звучать как древняя фамильярность, разрушающая все грани между людьми» (450—451). В книге, посвященной французской литературе, это явление отмечается в переписке Г. Флобера (452), нетрудно было бы привести аналогичные примеры и из писем классиков русской литературы.

Но эта функция «бранных слов» всё же вторична. Важнее то, что «у всех современных народов есть еще огромные сферы непубликуемой речи, которые с точки зрения литературно-разговорного языка, воспитанного на нормах и точках зрения языка литературно-книжного, признаются как бы несуществующими. Лишь жалкие и приглаженные обрывки этих непубликуемых сфер речевой жизни понижают на книжные страницы» (451). И это не просто слова: «В этих непубликуемых сферах речи все границы между предметами и явлениями проводятся совершенно иначе, чем это требует и допускает господствующая картина мира» (451). Подчеркивается, что «во времена Рабле роль этих... сфер была совсем иная» (452).

Всё это писалось в середине XX в. Сейчас кое-что из сказанного устарело. И особенно устаревшей кажется формулировка: «Эти сферы непубликуемой речи... превратились в значительной своей части в отмирающие пережитки прошлого» (452). Все мы знаем, что «сферы непубликуемой речи» живы и теперь уже публикуются и вполне вошли не только в литературно-

разговорный, но и в литературно-книжный язык.

Вспоминается, как в 1994 г. на презентации большого французско-русского словаря ныне покойный профессор В. Г. Гак привел высказывание одного французского лингвиста. Смысл его был в том, что полвека назад любой французский лексикограф навеки испортил бы свою карьеру, если бы включил в словарь нецензурную лексику, а теперь карьера рухнет, если он исключит ее из словаря. В наши дни снимаются прежние табу, речь становится подчеркнута разговорной, насыщаясь, в том числе, прежде запрещенной лексикой, с другой стороны, стараются избегать слишком серьезных и «вышешенных» слов и оборотов, а также «обычных ласковых слов». На Западе этот процесс длится уже несколько десятилетий, а у нас в советское время он всячески тормозился на официальном уровне, зато широко распространился после 1991 г. Это, кстати, не подтверждает идею М. М. Бахтина о связи благопристойности с индивидуализмом: табу сняты одновременно с резким его усилением.

Михаил Михайлович всё-таки сужал сферу действия «непубликуемой речи»: у него это либо дружеская фамильярность, либо «бесцельная и необузданная словесная игра» «вне серьезной колеи мысли» (451). Но данная речь, включая так называемый русский мат, может иметь, как мы хорошо знаем, и другие функции, в том числе употребляться и без определенных намерений, как часть базового словаря. Трудно представить, чтобы М. М. Бахтин не сталкивался с этим явлением, особенно в Кустанае или в Саранске. Конечно, он пишет о литературных языках, а это явление господствует, прежде всего, в нелитературных разновидностях языка, проникая сейчас, впрочем, повсюду. Но пропуск знаменателен; возможно, упоминание этой стороны дела нарушило бы концепцию, связанную с защитой «непубликуемой речи».

Позиция М. М. Бахтина по всем вопросам, связанным с «телесным низом», включая и вопрос о его отражении в языке, безусловно, положительная (что, видимо, стало одной из главных причин отказа в присуждении ему докторской степени). Но при всём уважении к выдающемуся ученому как-то трудно полностью принять его позицию. Безусловно, «непубликуемая речь» проводит «границы между предметами и явлениями» на основе особой картины мира. Но следует ли перенимать теперешнюю «народную картину мира», пусть она где-то ближе к той картине мира, которая когда-то давно отразилась у Ф. Рабле, чем к картине мира, осваиваемой из школы и книг? Современная западная массовая культура (теперь ставшая эталоном и у нас), как мне представляется, характеризуется не только дальнейшим усилением индивидуализма, но и усилением биологизма. «Основные инстинкты», во многом связанные с «телесным низом», теснят социальную и духовную стороны человека; «реабилитация» обценной лексики хорошо сюда вписывается. Можно ли это считать восстановлением на новом витке спирали некоторых черт прославленной М. М. Бахтиным народной культуры средневековья? Термин «новое средневековье» уже появился.

Но я слишком далеко отошел от лингвистической проблематики знаменитой книги М. М. Бахтина. Эта проблематика, как я старался показать, при всей небесспорности некоторых положений ученого, заслуживает внимания.

В заключение хочу сказать о Николае Алексеевиче Панькове, которому посвящен сборник. Это настоящий подвижник своего дела, посвятивший жизнь всему, что связано с деятельностью М. М. Бахтина и его друзей. Именно он впервые познакомил нас и с детством и юностью Михаила Михайловича, и с обстоятельствами защиты им диссертации и прохождения его дела в ВАКе, и с этапами написания книги «Марксизм и философия языка», и со многим другим. В нелегкие 90-е годы, работая в особо трудных условиях провинции, он сумел создать и вести более десяти лет единственный в мире специальный бахтинский журнал (вообще редкий пример журнала, посвященного деятельности одного ученого). Он сумел связать между собой специалистов в разных областях науки, весьма отличных друг от друга по научным, а иногда и по политическим взглядам, объединенных лишь интересом к бахтинскому направлению в гуманитарных науках, когда-то казавшемуся маргинальным, а теперь ставшему очень плодотворным. Николай Алексеевич сумел заразить своей увлеченностью и людей, первоначально далеких от бахтинистики.

Не могу здесь не сказать и о себе. До 1994 г., когда я познакомился с Паньковым, я считал М. М. Бахтина «чистым» литературоведом, о книге «Марксизм и философия языка» знал, но не считал ее интересной, к тому же был воспитан в парадигме структурализма, враждебной «кругу Бахтина». Но Николай Алексеевич, поймавший меня однажды в аудитории МГУ и предложивший дать лингвистический комментарий к публикации аспирантского дела В. Н. Волошинова, сумел своими энергией и напором меня увлечь, и с тех пор мы с ним не раз сотрудничали. И личное общение с Паньковым, и книжное общение с Бахтиным и Волошиновым много мне дали, за что я благодарен судьбе, персонифицировавшейся в лице Николая Алексеевича. Не всегда у нас совпадали точки зрения, но всегда общаться с ним бывало интересно. Спасибо ему.



## Из предыстории романного слова

С. Г. БОЧАРОВ

Первый из двух докладов, прочитанных автором осенью 1940 и весной 1941 гг. в московском Институте мировой литературы. Об участии М. М. Бахтина в заседаниях учрежденной в Институте под руководством Л. И. Тимофеева группы теории литературы, в том числе о его выступлениях в апреле и мае 1941 г. на обсуждениях по докладам на темы «Род, вид и жанр» (доклад А. Н. Соколова — сохранилась стенограмма выступления М. М. Бахтина) и «Новелла как реалистический жанр» (доклад Н. Кравцова — стено-